

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



ДВОРНИК

СКАЗ О ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ПИСАТЕЛЕ

Всплыло солнце над байкальским хребтом, над сумеречным чернолесьем, домовито, с хозяйским прищуром оглядело землю: серебристо играет чешуйчатая рябь на ангарской стремнине, тает густо-зелёная, лешачья тень под высоким становым берегом, теплеет рыжий суглинистый яр, издырявленный норами, откуда выпархивают, заполошно снуют по-над самой рекой стрижи и, ухватив мошку либо зорового комара, ныряют в дуплица, кормят прожорливых чад; просыпается скошенный луг на яру с гладко очёсаннным зародом сена, оживает прибрежная деревня-малодворка с вековечными седыми избами, матёрными амбарами, “чёрными” банями, ладными завознями, сеновалами, людскими и скотными дворами.

Взошло красно солнышко из таёжного хребта и обмерло, словно румяная со сна, щекастая молодуха, провожая в поле бурёнку, вдруг сомлела у поскотинных ворот, блаженно и бездумно отпахнув глаза, омытые ключевой водой до небесной синевы: Божушко ты мой милостивый, экое райское диво разлилось по утренней земле.

Вот и Краснобаев Иван, молодой заправский дворник, на пару со светилком ласково озирает чисто прометённую... вылизанную усадьбу в музейной деревне-малодворке Тальцы, потом прячет метлу под высокое крыльцо, чтоб

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богию землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

не искушала проказников, — дальше положишь, ближе возьмёшь, и, чуя в душе лад, в мышцах отрадную усталость, смущённо улыбается — блазнится дворнику: жена богоданная, синеокая, с русской косой на млечном плече, выглядывает из зорво пылающих окошек, любуясь Иваном. Не шибко и красовитый, не франтишко завитый — пучеглазый и носатый, большеголовый и осадистый, вроде в корень ушёл, но работающий, домовитый, двужилый, не мужик, ярёмный бык, на коих бабы в войну целик драли, пашню пахали. Не присядет, сердечный, от темна до темна пашет в поте лица, чтобы ей доля да холя, чтоб и чадушки-оладушки зрели, спели, наливались силушкой, набирались ума-разума. Чуя спиной ласковый погляд, степенно, вразвалку шагает Иван к свежерубленным баракам, что желтеют на угоре, за картошечным клином, буйно истекающим белым, сиреневым цветом, за ручьём, что утробно журчит в лохматой кочкаре и густой осоке. В янтарно-смолистом бараке Иванова тенистая дворницкая камора, утаённая черёмушным и боярковым плетевом... отраднo жить в глухой и прохладной тени, когда на воле — белый зной, плавающий душу и память. В каморе той, сменив метлу на гусиное перо, куда впибал чёрный стержень, в горьких и сладостных муках денно и ночью плетёт Иван сказы и бывальщины, а то и на простушку-повестушку замахнётся, а как испишет мелким бисером светло-серые четвертушки, — отступит испанное на машинке.

Выйдя за деревенскую околицу, Иван замирает...вроде зов нежно колыхнул ухо... снова оглядывает музейные подворья, похожие на ряженных мужиков и баб, и снова плетёт им песнь, заздравную и заупокoйную, словно взаправдашней деревухе-вековухе, которую Иван запечатлел на своей гремучей и скрипучей ветхозаветной машинке. И будет такой зачин...

“Не ветшая в насмешку над мертвoдушным и душным, бетонно-стылым жильём, столетние избы мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими листовничными корнями, словно и не рубили их мужики русские, а избы взросли из земной тверди и заматерели, как взрастают и матереют кряжистые лиственни, солноликие сосны, подпирающие небесный купол.

Подле русской сибирской избы явственно чуешь сухой, белёсый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот заголил бывалый петух, ревниво подхватился молодой, задорный, и разбуженный певнями зоревый свет с виноватой поспешностью стирает с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселяет сруб золотистым теплом; вот в стайке глухо взмыкнула корова, ей подтянула соседская, потом вдоль улицы поплыла рассветная песнь пастушеского рожка; а вот щекастая, розовая со сна, дородная молодуха опустила по лесенке из сеновала и, смущённо оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбается, вспоминая чаровные сны, любитесь утренней синевой, потом, схватив вёдра и коромысло, раскачисто плывёт к реке, над которой стелется молочный туман; а вот, напоивши коня, вздымается с яра крутоплечий мужик, при виде молодухи замирает в седле, но не зарясь греховно на бабье обилие, но дивясь чадородной мощи, что сродни хлебородной матушке-земле. И, осенив себя крестным знамением, воскликнет мужик: “Господи, Иисусе Христе, столь благолепны и обильны земля Твоя и людя Твоя... И жить бы нам в ладу и любви, и славить Тебя денно и ночью...”

— Не-е, паря, рассказ не выйдет, разве что очерк о малодворке... — говорит Иван писателю, что поселился в душе и разуме.

Давненько, с той поры как искутился сказительством, с головою утопая в воображённом мире, облекая мир в словеса, Иван беседует вслух сам с собой, да к тому же вдругорядь толкует сразу и за себя, и за героя либо уж за собрата по несчастному ремеслу, согласного и супротивного. Случается, забормочет, затокует на людях, сам того не замечая, потом спохватится, оглядится виновато, узрит, что люди удивлённо и сострадательно косятся на него, благо, не крутят пальцем у виска: дескать, не все дома у паренька, к соседям ушли и загостились. Вот и ныне поразмыслил вслух:

— Доведу очерк до ума... какой уж есть умишко, доведу до русского духа... какой уж есть, и запечатаю в слове... какое уж Бог дал, а там, глядишь, и — очерковая книжка, и можно в Иркутске счастье пытаться, а можно и в столице, чем леший не шутит...

Облачая словесами сказ, витающий в распалённом воображении, бредёт Иван мимо бревенчатой церквушки — привезли с Илимского села да неверно собрали — алтарём к солносяду, а перебрать руки не доходят. Вот про церковь из родового села Укыр, как её боголюбцы созидали, а хриstopродавцы сокрушали, и вызревает, наливаясь зерном словесным, то ли боль, то ли былль...

“В уездном селе Укыр, как поминала бабка Маланья и мать, потом, уже созрев, воображал Иван в редкие часы душевного предрассветья, — жаром горели в закатном солнышке купола и маковки белокаменной церкви во Имя Спаса, самой благолепной на сотни вёрст по старомосковскому тракту, пробитому сквозь тайгу и степи от Верхнеудинска до Читы. Церковь призрачно мерцала перед задумчиво-осветлёнными, обмершими глазами Ивана, ласково слепленная из синеватого вечернего марева, в изножье своём бережно укутанная миражным выдохом сморённой за день земли, отходящей к летнему сну; оживала церковь, в кружевном убранстве похожая на раскидистую берёзу в серебристо-синей изморози, с крестами, облитыми багрецовым зоревым светом. Зрел Иван сие и слышал, будто из поднебесья, как негасимо плыл над озером, над берёзовыми гривами, над приболоченными полями и таёжным хребтом протяжный, с переливами, влекущий, синеватый колокольный звон.

И виделось Ивану горделиво и завидливо, как мужики-мастеровые с постом и молитвой, с русским великотерпением, в Божием озарении лепили её по кирпичу, яко ласточки гнездовье; и вдруг стылой змеей вползло в душу сомнение в духе своём и праве возводить храм Божий, и обессиленно висли руки плетью; но, помолясь, перекрестясь, плюнув через левое плечо в харю ляда нечистого, зрели мужички омытым и ожившим оком церкву во всей её лебяжьей белизне и тонкости, во всех её по-русски щедрых, теплых и певучих кружевах; зрели мужички в православном озарении грядущую лепоту и поспешали обратить видение в явь, чтобы из рода в род тешила церква и очищала зрак человеческий — око души, и чтобы грела Русь забайкальскую любовь к Отцу Небесному и брату земному, чтоб не выжглась палящими морозными ветрами надежда на спасение и покой, вечный и блаженный.

Строили церковь в уездном селе Укыр не один год, порушили в считанные дни, — ломать не строить; и негде было отвести душу от тоски и теми, на любовь изладить и земное терпение, потому что вместе с уездной разорили церкву и в волостном селе Погромна и в Сосново-Озерске; благо, что хоть иконы выжили по избам, и это оберегало от последней предсмертной кручины”.

— Роман бы напахать, — вздохнул Иван, припомнив описание церквей, уездной и волостной, — и туда про церковь... Хотя... — Иван болезненно сморщился, — хотя... как это описание в роман вставишь?! — шибко уж откровенно, в лоб, газетой припахивает... Да и веры мало... в Царствие Небесное — на земле жить охота... Может, переписать?.. Ну, посмотрим...

Говорит Иван тихо, сам с собою, вздымается от ручья тропой, едва пробитой среди колосящейся травяной кудели; поминает с улыбкой: давнишнее лето, когда гостила в Тальцах малая дочь Дарья, ещё не вставшая на ноги... Ивана вдруг выдернули на усадьбы, и пришлось Дарью с собой волочить; вначале нёс на горбушке, а потом решил пустить на вольный выпас. И вот ползла дева по тропе вслед за ним; и то ли Иван счастливо заплутал в озарённых думах, то ли заблудился сам с собой, то ли залюбовался летней благодатью, но вдруг обернулся назад и не высмотрел Дарью на тропе. Испуганно метнулся назад, — пусто, огляделся вокруг и лишь по раскачиванию луговой овсяницы смекнул, где Дарья пасётся и как далеко от тропы учесала,

хотя и ползком. Догнал, сволок на тропу и порадовался: слава Те Господи, мать не видала, а то бы вся изворчалась: “Вот и доверь ему дочь?! Ребёнок в крапиву залезет, а он и ухом не поведёт, глазом не сморгнёт. Писатель...”

Вспомнилось с умилённой улыбкой: на закате вдруг спохватился, что завтра день рождения у Дарьи, а подарка не припас, запоматовал, а теперь и некогда, да и не на что. И тогда присел Иван у горящего камелька, придумался, пригорюнился, глядя, как синеватые, зеленоватые багровые листья огня колышутся над жаркими углями; и отроческим сном привиделась лесная сказка...

“Дивная вышла сказка: в тайгу наладился дед Савраска. Землянику собирать, кости древние размять. Глянул в окошко: у калитки лукошко. Может, ребячёшки подкинули кошку?.. Узнать охота, вот и выбежал дед за ворота. Дивится: чтой-то в лукошке том шевелится?.. Размотал дед пелёнки, а там — девчонки-дарёнки. Обрадел дед Савраска да бабке Малахайке сказал: дескать, Боженька детишков послал...”

Вставил Иван в машинку тонкие берестяные листы, отпечатал сказку и, добела прокаливая на печных углях шило, пустил по бересте травяные кружева, а потом, пробив гильзой дыры, сшил листы берестяной тесьмой. Когда посинели сумеречные окошки и в боярышнике заголосили зоревые птицы, красовалась на письменном столе лесная сказка. Припомнил Иван сказочную ночь, грустно улыбнулся: голь на выдумки хитра.

Ныне проходит мимо сухостойной сосны; пёстренький дятел со всей птичьей моченки долбит сушину — аж труха летит. Глядя на дятла, трудягу-работягу, Иван озаряется:

— Так вот на кого я похож, на дятла... Тоже долбно... денно и ночью стучу, стучу. Прокорм добываю. А прокорм... — Иван усмехнулся горько. — В год по копейке, станешь богатейкой... Как он, бедный, живёт? — пожалел Иван дятла. — Семейный ли, холостой, бобыль? Баба-то есть? А то, по-ди, некому и приласкать, трудягу...

Войдя в тенистую дворницкую камору, Иван блаженно оглядывает жили: матёрый двухтумбовый стол со столешней, обитой зелёным сукном в линялых чернильных пятнах; брусовые венцы с рыжими куделями мха, Боженька в красном углу, подле — Царица Небесная со святыми. Для красы... А по стенам — коренья... Лешачьи и русальи, сказочно сплетённые, добела выгоревшие на солнце, гладко вылизанные прибойной волной, коренья обратили жилище в таёжную зимовьюшку колдуна-судевера. Пёстро и сумрачно в древесном плетеве, словно ползучие гады затаились на венцах, готовые однажды оплести хозяина и удушить; надо бы содрать и спалить, но рука не подымается — вроде красиво.

Возжигает в печи берестяные кудри и, подкидывая мелких дровишек, зачарованно глядит в огонь, — покой в душе от одиночества. В бодрищем предчувствии свежего чая наливает в чайник ангарской водицы, звенящей и прозрачной, как слеза, и, лишь белые пузырьки оживают в закипающей воде, заваривает крепкий чай с мятой и смородинным листом. Прихлёбывая чай за ветхим письменным столом, глядит в заросли черёмухи и боярки... в густой листве пёстро и залиvisto поют Божьи птицы... думает: Господи милостивый, так мало нужно простому человеку для счастья: испить душистого чая, и душа уже подрагивает в азартном нетерпении — сочинять охота. Поётся на ангарской пабереге, где и воля, и холя, и доля; дома, в каменной клетке, среди пёстрога грая, молчит омертвелая душа.

Снова привиделось сенокосное детство, Иван перекрестил печатную машинку и тронулся с Богом... Стучит Иван на разбитой машинке, долбит, словно неугомонный дятел сухостоину, из железной кружки дует чай, густой и вязкий, как смола, чадит крепким табаком, но взгляд нечаянно сблудил к распахнутому окошку, и писатель всмотрелся сквозь куст боярки... “толком не видать, вечером прорежу куст”... и углядел ромашковый луг у соседнего, свежесрубленного барака и музейную деву Арину Родионову с грудным чадом на руках. Чадушко — в чём мать родила — сучит пухлыми ножонками,

машет ручонками, а молодуха, щедро созревшая, густо загоревшая, отчего белый купальник кажется снежным, тискает малого и плывёт по тропе к скошенной полянке, где раскинуто пикейное покрывало и согрелась шайка с водой. Молодуха с тарбарным говорком окунула малого в шайку — парнишонка радостно загулил, намылила — заревел телком, окатила тёплой водицей из кувшина, приговаривая “с гоголя вода, с Пети худоба” — и мальчег опять залепетал. Укутав парнишонку махровым полотенцем, молодая опустилась на цветастое покрывало, выпростала грудь, и мальчег жадно приник к сосцу, а как отвалился бутуз, тут и дрёма одолела. Раскачивает мать парнишонку на руках, словно в берестяной зыбке, подвешенной к потолочной матице, и напевает:

*Ой вы, котики-коты,
Наняситя дрямоты.
Спитя, мои деточки,
Мои малы веточки...*

Любовался Иван молодухой, завидовал белой завистью её мужику, подставить жёнке добротному, крутоплечему музейному плотнику Петру, и тоскиво косился на исписанные листы, на печатную машинку. “Э-эх, так и живая жизнь загинет в сочинённой, воображённой... Мне бы, деревенскому увальню, землю пахать, жито сеять, избы рубить да с деревенской бабонькой ребящёшек плодить — два на году, один на Покрову... Вот она взаправдашняя жизнь, вот она красота, вот он рай земной... Но не судьба. Видно, жить мне в добре да в красне лишь во сне...”

Пришла Арина свекровка, дородная хохлуша, и унесла малого в барак, а молодая пристально огляделась вокруг ...Иван испуганно и стыдливо отпрянул в сумерки дворницкой каморы... подумала, подумала Арина, да и, скинув купальник, похожий на сбрую из белой сырмяти, растелешилась на цветастом покрывале, в сладостной зевоте изогнулась смуглым телом, подставляя наготу усердно палящему солнцу. Ошалел Иван от эдакой красы, а когда очнулся, в диве качнул головой: “Вот баба, а!.. троих принесла, и никакого ущерба — дева девой, хоть завтра под венец...” Что греха таить, загляделся Иван на молодуху, на то и зарные мужичьи глаза... С крутым матерком, зубовным скрежетом плонув на себя, блудливого кота, резко задрнул шторы, вкрутил в машинку свежий лист, бездумно вперился в бумажную четвертушку, бисерно исписанную карандашом, а в голове жаркая пустота, в глазах дева маячит. Запел было громогласно: “Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, поми-илуй на-ас...”, потом “Царя Небесного” прочёл, но и молитва нынче не спасла; долго терпел, да не выдержал, устроил щель в шторах, вгляделся, но от молодухи осталось лишь томительное видение.

Послышался тревожный стук в дверь, явилась Екатерина Романовна, музейная начальница, белокурая, холеная ...у ней мужик — большая шишка... со вздохом покосилась на печь в причудливых облаках копоти, оглядела казённое жильё, сплошь увешанное черёмушными и тальниковыми корнями, которые ангарская течь вылизала до костяной белизны.

— Иван Петрович, Вы уж меня извините, но придётся Вам писать ответ на объяснительную записку Вашего соседа. Вы Карлу Моисеичу угрожали топором?..

Иван обомлел, оторопел с отпахнутым ртом и выпученными глазами.

— Я?! Топором?! Бред какой-то...

— Бред или не бред, но почитайте, здесь чёрным по белому написано: угрожал топором...

Екатерина Романовна выложила на стол четвертину серой писчей бумаги, испещрённую затейливым, кудреватым подчерком. Карл Моисеич, ветхий старичишко, похоже, из мелких служащих ... “крыса конторская”, обозвали его плотники, бриткие на язык... жил через стенку от Ивана и прирабатывал музейным смотрителем — всё приварок к пенсешке. Невзлюбил Карл Моисеич соседа-дворника, а уж за что, про что, Бог весть; хотя, может, по-

тому, что, бывало, нагрянет к Ивану шатия-братия — молодые, разгульные писатели и художники, — и до третьих петухов керосин жгут, водку жрут; спорят до хрипоты: куда Русь-тройка мчится, копь на облучке черноглазый хазар посиживает, бичом посвистывает... Выйдут, бывало, охладить пыл на ангарском ветру, и под звёздами рядятся. Карлу Моисеичу весь сон изломают, и без того худо привечающий на старости лет, а утром с красными, опухшими глазами надо плестись на усадьбу. И хотя божемные набеги на Иванову дворницкую камору случались годом да родом, Карл Моисеич поплакался соседу Марку: “Ладно, спать не дают, а чего мелют своими языками?! Да раньше бы за такие речи давно языки укоротили... Сами никто, вроде нашего Ваньки, — метлой махать, а гляди-ка ты, о чём болтают...”

Иван взял серую четвертинку и, подивившись каллиграфическим кудрям, стал читать жалобу Карла Моисеича...

“На Ваши обвинения в том, что я дважды не приехал из Иркутска на дежурства, вменённые мне по утверждённому графику, докладываю: не явился в первый раз по причине того, что дворник Иван Краснобаев накануне вечером угрожал мне топором. И я не поехал на дежурство, потому что боялся: Иван Краснобаев мог реализовать зловещий замысел, будучи махровым черносотенцем. Во второй раз не поехал на дежурство, потому что партийная совесть не позволяет мне работать смотрителем на усадьбе, где экспонируются орудия браконьерского лова, как-то: сети, невод, вентери, острога и прочее...”

— Вы угрожали топором Карлу Моисеичу? — Екатерина Романовна пытливо взгляделась в дворника, настороженно покосилась на стены, завешанные зловещими корнями...чем не разбойничья заимка... а среди плетев корней вроде таились хищно изогнутые басурманские сабли и зловеще взблескивали короткими стволами казачьи винтовки.

— Мне кажется, у старика крыша поехала...

Дворник вспомнил, о чём и поведал Екатерине Романовне: в тот злокозненный вечер из сухого берёзового полешка выстругал он топорище, бутылочным скольшком зачистил и насадил на топор. Топорище, хотя и впервые мастерил, родилось затейливое, лёгкое, ловкое, само просилось в руки, да и топор, полово выточенный, правленный оселком, бриткий, словно в масло, входил в древесную плоть. И когда Карл Моисеич по-старчески шаркал через ограду к своему крыльцу, дворник и похвастал топорищем.

Сочинять объяснительную записку Ивану не пришлось: Карла Моисеича с позором выгнали из музея — несмотря на ветхость, старичишко покусился на дебелую смотрительницу. Запирали усадьбу на ночь, и Карл Моисеич, воровато оглядевшись, вдруг наскочил на деву, чисто петух на куру, да и повалил в траву. Не вем, что бы и вышло, но дева, очнувшись, брезгливо смахнула старика, словно сухую репейную шишку, а потом ещё и пожаловалась Екатерине Романовне.

* * *

Всего лишь года три с гаком подфартило Ивану пожить взаправдашним писателем, который не ширкает утренней метлой и не мечется за газетным калымом, как жучка вывалив красный, парящий язык, днём строча об искусственном осеменении овец, а ночью под синеватой, призрачной луной сочиняя про нежную лирику Анны Ахматовой. Но были три года, были они, фартовые, счастливо и азартно добытые многолетними ночными писаниями и утренними подметаньями, когда жил Иван вольным писателем на литературных хлебах. Были да сплыли, булькнули в омут, крутящий сор и палый лист, и поминай как звали.

— А ведь мы, Ванюха-свиное ухо, хошь и не коммунисты — монархисты, а жили-то при коммунизме! — Толя Горбунов, тунгусоватый поэт из приленской северной тайги, озарённо и сокрушённо качал головой, — Провсвистели, задрав к небу блажные очеса, сломя голову мотались за таёжными кострами, проели, проворовали, проболтали, прохлопали ишачьими ушами.

Да, горестно соглашался Иван, всё о ту пору стоило дёшево, и, воображая себя именитым писателем с тугой мошной, любил Ваня Краснобаев иной раз прокатиться с ветерком на извозчике, крепко выпить, закусить в ресторане — отпыхаться от праведных трудов. Писатель... И про сё Иван сочинил сказ, вывел в герои своего зятя Колю, обозвав его Федей...

“Зять мой Федя ... воистину съел медведя — гора горой... изрядно выпив со мной на сумеречной кухонке, вьедливо пытал:

— От чего расслабляетесь, ежли в пень колотите — день проводите?! — Федя зло и нсмешливо косился на меня. — Ежли тяжелыше ложки да вороньего пера ничо не подымали?! Писателя...

Федя, в близком прошлом байкальский рыбак, ныне водила матёрого грузовика, расшеперился на стуле в синих семейных трусах до колен, застиранной майке с вытянутыми лямками, под которой бугрилась могучая грудь, и, скандально прищурившись, пыхал в моё обиженное лицо папиросным дымом.

— Между прочим, Федя, пишут не вороньим, а гусиным пером.

— Да по мне хошь... Ты кем работаешь?

— Писателем.

— Нет, ты нарезчиком работаешь...

— Каким ещё нарезчиком?

— Дуру нарезаешь.

Спорить с Федей, что воду в ступе толочь, — живуча она, паразитка, сословная неприязнь, хотя и оба мы из мужичьего кореня, и я сколь ни бился, ни колотился, из народа выйти не смог, так в народе и прозябаю. Вышел было из народа, выпил — хрясь мордой в грязь; одыбал, блудня, да и обратно в народ убрёл — свычнее.

— Ладно, деверёк, не дуй губы, не сердись — на сердитых воду возят, а лучше пропиши-ка, писатель, шоферскую жись...

Крепко охмелев, Федя отрыл в пыльном тёщином кутке ветхую, охрипшую и осипшую гармонь, и под рыдающие переборы и насвист тянул родную шофёрскую старину про Чуйский тракт, заметённый снегом, насквозь продутый свирепым алтайским ветром, пел про нелёгкую жизнь шоферов, про Снегирёва Кольку, отчаянного чуйского водилу “Амо”, что на горе, на беду по уши влюбился в Раю — шофёрку “Форда”.

*В повороте сравнялись машины,
Колька Раю в лицо увидал,
Обернулся и крикнул ей: “Рая!..”
И забыл на минуту штурвал...*

После сего куплета зять уже не пел с подсвистом — выл и скулил, скрежеща зубами и катая по скулам желваки ... из маятно сомкнутых глаз слёзы текли по глубоким морщинам и рытвинам, словно полая вода по придорожным кюветам... и снова, омываясь слезами, тянул шофёрскую старину, будто калешный фронтоник — прошак базарный:

*Тут машина трёхтонная “Амо”
Вбок рванулась, пошла под обвал,
И в волнах серебристого Чуя
Он кабиной мелькнул и пропал...*

Выплакивая судьбу лихого чуйского парня, плакал наш зять над бутылкой “Столичной” и судьбой горемычной, словно уже высмотрел её близкий край, когда и на его могилку приладят штурвал и разбитые фары”.

Зятя Колю Иван прописал в память о родове, значит, не токмо дуру нарезал, кинувшись, словно в омут, в сочинительство, обрекая себя на житейскую скудость и мучительные раздумья о суете и томлении духа. Но до вольного писательства лет десять кормился Иван с метлы — дворничал. Утром —

дворник, днём и особенно в ночной тиши — писатель, сочиняющий романы, повести, рассказы про степную, таёжную, озёрную деревенскую жизнь. Как у тунгуса, почётного академика, который по чётным числам академик, а по нечётным — опять оленевод и поёт во всё закалённое на ледяных ветрах, лужёное хайло: “Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам...”. И уж, помните, книгу выпустил, и в журналы прошибся с горем пополам, но метлой не попускался, метлу из рук не выпускал — без неё, родимой, жить скучно и нудно. Метла... Воспел Иван и дворницкий промысел...

“Скажу не лукавя, люблю я дворницкое ремесло, чту и по сивую бороду, как почитал своего тягу, который от дикого похмелья, душевного разора и мусора спасался тем, что прометал... вылизывал ограду и улицу вдоль палисада. Метлу же сам вязал, вешней порой наломав ирниковых прутьев. Дворницкое ремесло — самое благородное в мире: загаживать землю все мастера, а прибирают лишь дворники. Иначе бы грязью заросли по уши, яко свиньи у косорукого лодыря. Недаром поэт Воронов — нелепо погибший студент-журналист — красиво сочинил про нас, дворников:

... И трудно, и больно... // И белые дворники наши // Кружатся, кружатся // И улицу нашу метут. // Метите, метите, // Пока вам метёлки отпущены, // Не день и не два поднимать на заре, // Пока что люди, вами разбуженные, /// Не поймут, что рай наступил // На арбатском дворе”.

Насчёт рая да на суетном арбатском дворе парень загнул, а всё одно, елей на дворницкую душу... Иной раз прикинешь хвост к носу: может, в дворницком промысле моё призвание, не в сочинительстве?.. Греха и зазора нету, что кормишься с метлы, — не ворует, как все нынче от бояр до холопей, не караулишь с кистенём, как тать придорожный скрадывает православную душу на росстани дорог. Дворник — тоже человек, подобие Божие, а в Священном Писании и вовсе чёрным по белому прописано: “Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится”; “Будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных”. Явно про дворников... Ляпнул не думавши, а душа... душа промолчала, не вместила, ибо мала, немощен духом — стеснялся дворницкого ремесла. Доходило иной раз до смешного...”

Добрые сокурсники после университета распределились в журналёры, а Ванюша-дурачок — в дворники, и лет пять дворничал в музее деревянного зодчества “Тальцы”, что на сорок седьмом километре Байкальского тракта...

Дивная там краса: лесные елани в густых ленивых травах и тихих цветах, тенистые перелески, где кружатся в синем поднебесье певучие девы-берёзы, где жарки догорают приманчивыми огоньками, где избы, амбары, повети, завозни и бревенчатые заплоты, вылинявшие на солнопёке, светятся вечным седым покоем.

Росными туманными зорями мёл Иван возле музейной кассы, стараясь успеть, пока стойбище не заполнят бесчисленные автобусы — всё было дешёво, и бродяги, нашенские и забугорные, валом валили в прибайкальские края, и уж “Тальцы” никто не миновал, все подворачивали по дороге к Байкалу. Грамотные ходоки так и молили: дескать, страсть охота поглазеть на иркутские деревянные улочки, на Байкал и писателя Распутина...

И вот, бывало, утром подметёт участок, потом дворы, мощённые тёсом, окинет последнюю ограду зорким хозяйским оком и, вернувшись в тенистую камору, пьёт чай в сенцах, гляючи на кусты боярышника, что пышно кудрявились под окном и метелисто цвели майским цветом. Потом садится за машинку и стучит, стучит, стучач, — вчерне и набело печатает роман, правит повестушки. После обеда, как путный русский мужик, любил соснуть вволюшку. А уж с ясной душой, светлой головой — опять стучит. Бывало, и ночи прихватывал; а коль свет в музей ещё не провели, то возле машинки мостил две керосиновых лампы и при тихом, уютном, таинственном свете, в наслаждающемся одиночестве воображал картины и, чтоб всё вышло правдашнее, играл, словно артист по жизни, своих героев — ребятишек, мужиков и баб, и всякую деревенскую живность, — и писал, умиляясь вооб-

раженным, забывая обо всём на свете. Если бы сосед Карл Моисеич заглянул в окошко посреди ночи и увидел, как Иван кривляется, машет руками, входя в образы мужиков и баб, старых и малых, играя картины, то в ужасе отпрянул бы от окна и, может, позвонил бы в “неотложку”: дескать, сосед умом ворохнулся. Бывало, Иван, заигравшись, записавшись, синеватый рассвет встречал и слушал, как боярышник вдруг наливался птичьим перезвоном-пересвистом. А птичек самих не видать, и чудится, будто с небес поют Божьи птахи... Кажется, после степного и таёжного, озёрного детства, не случилось более отрадной поры...

Дворнику Ивану вменили по лету ещё и косить траву в усадьбах, чтобы дворы домовито, опрятно гляделись и чтобы, упаси Бог, кто ненароком не запалил по весне ли, осени сухую ветошь. Траву косить Иван любил, с детства приважен, и запечатлел покосы в любовных сказах.

“Ранешние мужики разговееются после Петровского апостольского поста, прозванного петровки-голодовки, потому что лоняшню картошку-моркошку подмели, а нынешняя ещё не народилась, и как разговееются на Петрово говейно, отгуляют апостолов Петра и Павла, так и начинают снаряжаться на покос, укладывать в телеги отлаженный инвентарь: литовки, берёзовые грабли и вилы, а с ними и стожни — трёхрогие вилы стога метать. Помолясь Спасу и Царице Небесной, апостолам Петру и Павлу, мужики и домочадцы мостят в телегу котлы, берестяные туеса с маслом, сметаной, творожком и яйцами, что скопили бабы в постные дни петровок-голодовок, да и с Богом трогаются”.

Не велик покос в музейных дворах, а надо выкосить. Прошлое лето поздно спохватились, в августе, — трава перестоялась, семенем осыпалась, загрубела, и не поспеешь раз-другой махнуть литовкой, надо её отбивать на чугунной бабке, править оселком лезвие. Помнится, обвешанные с ног до головы причудливыми кинокамерами и фотоаппаратами, бойкие заморские туристы снимали косаря, словно живой экспонат сибирской деревни-малодворки, но, похоже, сожалели: дескать, вышел бы мужик деревенский, ежели бы в косоворотке с обережными крестами по вороту, рукавам и подолу, да ещё бы потно тискал в руке бутылку рашен водки, словно милашкину ладонь.

Когда Иван махал литовкой ...эх, раздудись плечо, размахнись рука... и валил перереросшую, пересохшую траву, о ту пору усадебный смотритель Марк, сосед по бараку, дремал на амбарном крыльчке, вытянув долгие ноги, обутые в войлочные чуни “прощай молодость”, надвинув на глаза кепку, похожую на пригорельый блин. Инистой ветошью топорщилась из-под кепки взъерошенная борода.

Подчалали серая и тощая британская парочка, смачно щёлкая фоторужьями, обсуждая косаря на заморском говоре. Рядом прохлаждались туристы фабрично-заводской облички, и когда иноземец и на них навёл фоторужьё, широкая в кости, мужиковатая баба, глядя на мощный объектив, торчащий из аппарата, громко подивилась: “Во дура, дак дура!.. — и, грозно махнув иноземцу рукой, выругалась: — Ну, ты, буржуй недорезанный, убери свою хреновину! Убери, убери!.. Знаю вас, фармазонов, нащёлкаете, а потом покажете дикарей...”

Парочка вновь обернулась к Ивану-косарю, и поведал иноземец своей иноземке:

— Honey, I’m telling you that my grandpa managed to be in Siberia when Russians were involved in the Civil War. Do you remember?

— I don’t remember, dear...

— So now, my grandpa was in Russia, he served in the Expedition Corps. Then he found himself in Irkutsk.

— Really?

— Yes, he did... Grandpa said that Siberians looked like bears — strapping, broad-shouldered. And now when I see Siberians — many are small and lean.

— I read in a London newspaper that Russians are degenerating.

— Why degenerating?

— Because Russians are drunkards.

— Yes, exactly. They drink a lot of heavy vodka*.

И тут смотритель Марк, лениво спихнув на затылок мятую кепку, поправил на переносе круглые очёчки и усмехнулся:

— Englishmen drink less, but they have degenerated much more**.

Британец обомлел, услышав родную речь из неяршиливо забородатевших уст мужика, похожего на христарадника с церковной паперти, обутого в чиненные-перечиненные стариковские чуни. Марк числился музейным смотрителем не ради грошовой зарплаты, но ради свежего речного духа, ради здешних лесных, полевых красот, ради дармовой казённой дачи на ангарском берегу; а на хлеб с маслом Марк, окончивший институт иностранных языков с красным дипломом, зарабатывал переводами с английского языка мудрёных книг. И несмотря на нищенскую одёву, про его туго набитую мощну бродили легенды по музею. Однажды Карл Моисеич прошептал Ивану на ухо, что своими глазами видел у Марка три сберкнижки, на коих лежало ...страшно подумать!.. на пять легковых машин и три квартиры с морским видом. А для конспирации рядится в скудное рубище... Может, некий капиталишко и прятал Марк в загашнике, ну, да Иван не считал деньги в чужих карманах. Скуповат был, да... Помнится, гостил у Марка приятель с подругой; и решила парочка ...баран да ярочка... у Ангары посидеть, а коль ночи у реки промозглые, то и попросил дружок для зазнобы хоть завалиющую телогрейку; сунул им Марк ветхое пальто — бабушкино наследство, и потом долго разорялся: дал им накинуться, а они под себя подстелили, всё пальто извозили в глине. Его ещё носить да носить, ежли починить...

Когда британская парочка, испуганно косясь на смотрителя, удалилась восвоеси, Иван подошёл к Марку.

— О чём трепались басурмане?.. А ты им чего сказанул?.. Шарахнулись, как чёрт от ладана. Переведи. Нет, черкни на бумажку — согдится.

Марк тут же, нашарив в кармане осьмушку бумаги, огрызок карандаша, прописал по-русски и по-английски то, о чём толковала британская парочка.

* * *

О ту пору Иван уже и в толстых русских журналах мелькнул — десять раз, бывало, откажут: дескать, может, есть у Вас ещё какая другая, хоть завалиющая профишишка, намекают на дворника — а на одиннадцатый раз дивом дивным возьмут да и напечатают; и уж книжку издал, и другая зрела, но с метлой, подругой верной, пока не расставался. Писал, стучался в журналы и книжные издательства, а уж именитым писателям надоел своими опусами хуже горькой редьки.

Помнится, в Иркутске случился шумный литературный праздник — вроде “Байкальской осени”; и нагрянуло столь знаменитых писателей, что у Ивана аж голова кругом пошла при одном лишь поминании о них. Кроме земляка Распутина прикатили и Василий Белов и Виктор Астафьев. И, чего греха таить, Иван места себе не находил: так хотелось подле именитых повертеться, на светил поглазеть, себя показать, да, глядишь, и рукопись исподтишка сунуть — может, пристроят.

* — Милая, я тебе говорил, что дед мой побывал в Сибири, когда у русских шла гражданская война. Помнишь?

— Я не помню, милый...

— Так вот, дед мой был в России, служил в экспедиционном корпусе. Потом оказался в Иркутске...

— Да?

— Да... Дед говорил, что сибиряки похожи на медведей — рослые, плечистые. А сейчас я вижу сибиряков — много маленьких, худых...

— Я читала в лондонской газете, что русские вырождаются...

— Почему вырождаются?

— Потому что русские — пьяницы.

— Да, это верно. Они много пьют крепкой водки.

** — Англичане пьют меньше, но ещё больше выродились...

Надо голосовать на Байкальском тракте, ловить попутку и выбираться в город... Иван по лету наведывался в город лишь ради зарплаты, которую получал в доме-музее ссыльного декабриста Волконского, всякий раз восхищаясь двухэтажной хоромной: крепко при царе жили государственные преступники... В иные дни трудно вырваться из музея, весь бы испереживался, извёлся в труху — словно скотину бросил непоену-некормлену, — если бы кинул участок без призора, и по стойбищу и дворам, упаси Бог, белёсо-жёлтыми ворохами перекасти-поля мотались бы на ветру палые листья. Дворник из писателя вышел порядочный — порядок любил, и неряха смолоду презирал, хотя и терпел, не лез в чужой монастырь со своим уставом — у всякого своеобычный норов. К тому же боялся Иван нагоняя от начальства — дорожил местом дворничком, цеплялся за него обеими руками.

Не вырваться в город... Приуныл было, но тут писательский бригадир Ростислав Филиппов, — за гвардейский рост прозванный большим русским поэтом, — накануне литературного праздника прохлаждался в музее и шепнул на ухо: де, именитые писатели рванут на Байкал выпить стакашек под плеск волны, закусить копчёным омульком и, конечно, завернут в музей. А ты, мол, Ваня, встречай, к усадьбам провожай...

Иван от счастья кружил на седьмом небе и не мёл участок, а с метлой, как с милой сударкой, выплясывал “камаринского мужика” — таких писателей придётся принимать. А вдруг, чем леший не шутит, вдруг... дальше Иван робел загадывать, стеснялся.

Ростислав ещё и упрёдил, что писатели явятся утром на японском автобусе.

— Ну, паря, японский городской, — дворник яро чесал затылок, — во житуха пошла!..

В тревожный и радостный день тот не удалось Ивану поработать вволюшку... Вначале, стуча кривым черёмуховым батожком, приплёлся здешний старик с неожиданной для исконного ангарского рыбака и бакенщика дворянской фамилией Бестужев. Может, по немощи своей и пошалили дворяне-смутьяне... Дед Бестужев, давно уж перевалив восьмой десяток, впал не в детство, как положено, а — в юность, и всякий раз под хмельком жаловался на музейных плотников, которые подсмеивались над стариком: мол, ты, дед Бестужев, старуху-то, поди, уже не греешь?! Дед, принявший рюмку, психовал, хорохорился: “Да я!.. да я!.. я вас всех за пояс заткну...” “Свистишь, дед, старуха-то, поди, к соседу тропу торит...” — потешались плотники. “Тыфу на вас, блудодеи!.. боталы коровы!..” — плевался старик и, хлопнув дверью бытовки, рысил к своей избе, что кособочилась на высоком ангарском берегу. По дороге заворачивал к Ивану отвести душу.

Раскурив чадную трубку, укорив строителей-изгальников, дед Бестужев по старческому беспамятуству снова да ладом спрашивал Ивана:

— Ты, Ванюха, “Бабы тропы” читал?

Помянутую книгу, похоже, лишь одну дед Бестужев и прочитал на своём хмельном речном веку, Иван же о ней слыхом не слыхивал и всякий раз сознавался:

— Не читал я, дед, твои “Бабы тропы”.

— Не читал? Дак какой же ты писатель, Ваня, ежели “Бабы тропы” не читал?!

Дед уже притомил Ивана “Бабыми тропами”, как молодой музейный столяр — эстрадный фанат, который однажды пытал: “А ты, Ваня, видел концерт П.?.?”. Иван сморщился, как от зубной хвори, и помотал головой. “А концерт Л.?.?”. “Нет, не видел”, — отмахнулся Иван и хотел прибавить, что глядеть на ведьмака и ведьму с Лысой горы — одна холера, да плясать на русских жальниках с ночными бесами, но столяр опередил: глянул на Ивана с горестным вздохом: “Ничем ты, Ваня, не интересуешься, а ещё писатель...”

Вот и дед Бестужев победно озирал Ивана — он-то читал “Бабы тропы”, хотя и не писатель, а Иван — темь кромешная. Потом спросил о житье-бытье:

— Ты со своей бабой-то, Ваня, ладно живёшь?

Иван молча вздыхал: де, какая уж ладная жизнь у бабы, если мужик её ходит в писателях, а вкальывает дворником и приносит семье жалкие гроши.

Да ещё и в рюмку заглядывает, и на девок зарится. Писанину его жёнка не читает — недосуг, вертится, как белка в колесе, чтобы чад прокормить, но если Иван копейку зашибёт, не пропьёт, — талантище, а когда от него, что от быка молока, тогда — бездарь.

— А я, Ваня, со своей старухой душа в душу жил. Да... Можешь где и прописать...

Когда старик поведал о том, как он прожил век со своей старухой, и когда откланялся, Иван тут же записал сказ в заветную амбарную книгу — стоит, запас карман не тянет.

“Я ить, Ванюха, свою баушку до замужества не видал. Да... Она уж в девках засиделась, и отец повёз её по ближним деревням. Завернёт к знакомцам и ревьёт: мол, поспела... Вот и к тятё моему подвернул, выдули они самовар чая, посудачили, да и ударили по рукам — рукобитье вроде. Ведут девку-то... Она шали разматывают, а я крещусь: дай-то, Боженька, чтоб не крива, не хрома, не горбата... Но гляжу, брва девка, куды с добром... И прожили мы с ей век душа в душу. Бывало, лишка выпью, зашумит, хлоп её в ухо, и опять бравенько живём... Не-е, я это смехом... Сроду рук не распускал, пальцем не тронул. А выпрягется из дуги, лишь бровью поведу, опять шёлкова... Убреду в тайгу орех добывать, на Байкал ли спущусь, рыбу ужу, а уж на другой день без её вроде сирота казанская. И она все окошки проглядит, поджидая. Да... А уж вернусь, дак не знат, чем напоить, накормить, чем уластить... Так от и жили, так и век прожили...”

Листая черновую рукопись, Иван вдруг вспомнил, что завтра нагрянут именитые писатели, и опять голова пошла кругом. Ночью путём не спал — горячо, запальчиво и вслух толковал с писателями, которые оживали в жёлтовато-сонном, вялом свете, наплывающем от лампы — керосин весь вышел, и дворник жёг солярку, а чтобы лампа не чадила, фитиль укрутил. Толковал с писателями и во сне, и там они, похлопывая по плечу, что-то лестное ему отвечали — вроде привечали.

Счастливый, очнулся ни свет ни заря, лишь птахи заголосили в боярышнике; умылся студёной ангарской водицей, начепурился, напялил белую рубаху и чуть было криливо-петушистую удавку не повязал на шею... Увидел себя с метлой да при галстукe и рассмеялся. Надо было мести стойбище для машин и караулить писательский автобус, чтобы вовремя спрятать метлу в березняке — я не я и метла не моя.

И вот метёт Иван площадь, усыпанную народным мусором и квёлым, забуревшим на дождях, скукоженным листом, и опять вслух беседует с писателями — говорит за себя и за них, а сам посматривает зорко: не заворачивает ли с тракта писательский автобус. Прибилась на машинешке влюблённая парочка, убрела к берёзам целоваться; и дворник подумал: ладно — любовь, а то прикатит иной ухарь на заморской легковушке с тенистыми окнами, прозванной в народе “блядовозкой”, торопливо приткнет её под раскидистой берёзой, и ты метёшь вокруг машины, а та раскачивается, словно пьяная... За парочкой степенно подвернула семья, за ними с пылу и жару влетели гомонливые и хмельные мужики и сломя голову кинулись в кусты, на ходу расстёгивая ширинки... И вот лишь пол-участка промёл, как заворачивает японский автобусишко. “Но, япона мать, привалили...” Кинул метлу в кусты, быстро отряхнулся, соорил умное лицо... Выходят, да не те, которых ждал. Выдул метлу и опять машет; другой автобус зарулил — не тот, третий — снова не тот... Метёт Иван, да так увлётся, что и забыл про писателей, но вдруг слышит знакомый голос: Ростислав Филиппов по имени зовёт. Обернулся Иван, да так и обомлел с метлой: красуется японский автобусишко, именитые писатели гуртятся подле Белова и Распутина, ноги разминают, щурятся на утреннее солнышко, любятуют не то березняком, не то дворником, что с перепугу обмер с метлой. Вокруг Астафьева молодняк сбился, обомлели, что Арина, рот разиня, — Астафьев, поди, байки травит.

И так Ивану стало горько и стыдно, что хоть сквозь землю провались. “Ну какой же я писатель, коль с метлой?! Взаправдашние писатели за сто-

лами сидят, карандаши вострят, бумагу в машинку заправляют, музу абрамовну поджидают, либо с высоких подмоетков глаголом жгут, а уж метлою машут графоманы, неудачники, каких по Руси хоть пруд пруди. Вот Распутин взять, либо Астафьева — там и порода, и степенность, и важность — пророки, а я — завистливый, болтливый, суетливый, да и порода мелкая...малый псичко до старости щенок... и перед всеми пресмыкаюсь, всем охота услужить, всех повеселить... Вот у нас в селе Груня была, про неё судили-рядили: Груня — ничо бабёнка, хошь и шибко болтовата, тёпленькая водичка у ей не держится. Про меня сказано... Нет, брат, не выйдет из меня большой писатель, рылом не вышел. Да и графоман, поди...”

Вышить с горя захотелось либо напиться. Помянулось: лет десять назад обитал Иван в родном селе, прирабатывал истопником в деревенской газете, а вольной порой кроил и шил неказистые сельские сказы-рассказы. И вдруг рассказ “Двое на озере” вышел аж в самой Москве, да ещё и с напутным словом самого Распутина. Счастье привалило ни в сказке сказать, ни пером описать. Мало того, за рассказ...да, поди, за распутинское словцо замолвленное... присудили Ивану ещё и премию. Дня два Иван, подкинув дровец в редакционную печь, снова да ладом перечитывал рассказ, волнуясь, дивясь: он ли, деревенский катанок, эдакое сочинил? Слова, ещё недавно написанные острым карандашом, вытянутые на серой осьмушке в бисерную нить, потом переписанные чёрными чернилами и коряво отпечатанные “слепым шрифтом”...с лентой было туго, и он смачивал старую соляркой... — строки эти, ныне пропечатанные в литературной газете, вдруг обрели некую отстранённость от него, беспроклого сочинителя, строгую важность, словно это и не рассказышко, а...страшно и подумать... государева грамота. Помянулось злорадно: деревенская литераторша пророчила ему, бестолочи: де, толку из тебя, Ваня, не выйдет, а тут на тебе, вся Россия внимает...

И вот зимой, злой, метельной, когда рассказышко вышел в Москве, когда и премию подкинули дегтишкам на молочишко, шуровал Иван дрова в редакционные печи, чтобы сельские газетчики грелись не одной сорокаградусной, но и живым печным теплом, и вдруг слышит — редактор к себе манит. Как работал в телогрейке, с кочергой, так и завалил к “тятяе” — свои люди, кого стесняться. Вошёл в кабинет, огляделся: сидят у “тятяи” нездешние — городские, нарядные, а посреди кабинета кинокамера на треногом козле. Понял Иван: городское телевиденье... Редактор похвеляется: дескать, вот наш молодой писатель, сочинил рассказ “Двое на озере”, премию отхватил российскую, можете снять. А те глянули на Ивана в телогрейке да с кочергой, так и скисли, да и раздумали снимать, истопника прославлять.

* * *

Писателей прихватили музейные девы, повели двory казать, а Иван, припрятав метлу, поплёлся в дворницкую камору, где поджидал ангарский чай, сорочье перо со стерженьком, линялая, сухо потрескивающая бумага и дряхлая машинка. Пить с горя раздумал — смертная тоска с похмелья, хоть в петлю суйся или глаза завяжи да в омут бежи; нет, надо работёнкой спастись. И когда брёл мимо “деревенских” подворий, оглядывал амбары, избы, потихоньку улеглась недавняя досада, и в умилённое, печальное воображение явилось закатное видение, обряжаясь в словесные наряды и рубища, чтобы через долгие лета явиться в повести...

“...Однажды осенью Иван загадал с предснежной печалью, что не дожить ему до светлого утра, когда народится храм Божий в его притрактовом селе, давно уж обезбоженном, пьяном, злом и вороватом. Оно, конечно, вызреет благая пора для храма, но Иванова душа уже покинет юдоль грешную и, может быть, проплывая над синими озёрами и белёсыми степями, вдруг сладостно замрёт, покачиваясь на причальных волнах колокольного звона. Иван даже запечатлел его в стихе, что явился ему покаянной, хворой ночью, когда боль, спалив грешные помыслы, отлегла, и о смерти думалось легко и беспечно:

Я уйду, и с голубых небес // опустится на степь и лес // зелёной
мглою лето. // Исповедуюсь и причащусь, // услышу, как поёт младая
Русь, // увижу: сон или не сон? // в моём поселье – церковь, // коло-
кольный звон. // Я в белом рубище, босой, // иду с косой в заречные по-
косы.

Вышептал прощальный стих, теперь бы исповедаться да причаститься,
и... Но усмешка тронула спечённые жаром, потресканные губы: в моей де-
ревне церковь, колокольный звон? Блажь, прости Господи... Но, приехав
в Сосново-Озёрск под потёмки и заночевав у школьного приятеля, чуть свет
пошёл по селу и свернул с каменного тракта на родную улицу, шагнул к че-
рёмуховым палисадникам и замер в ошеломляющем диве: будто крашен-
ное луковым пером, пасхальное яйцо, выкатилось солнце из-за таёжного
хребта, стирая ночной мрак с деревенских изб и озера, и в утренней заре
засияла церковь сосновыми венцами, и привиделись Ивану пылающие зо-
лотом кресты, и послышался пасхальный звон, плывущий над селом, над
тихими озёрными водами”.

Вернувшись в дворницкую камору, почаявав, склонился Иван над руко-
писью, веером раскинутую на зелёной столешнице, — решил всё же дове-
сти до ума очерк о музее деревянного зодчества, но вдруг мучительно задумался
над своим писательством: не беса ли тешил, воспев страсти земные,
да порой и скабрёзно?.. не геенна ли огненная и скрежет зубовный поджи-
дают пустобая за безбожное праздное слово?.. Вопросал Иван небеса, но от-
вета не слышал.

*Нашему постоянному автору, самобытному, яркому проза-
ику-сибиряку Анатолию Григорьевичу БАЙБОРОДИНУ исполни-
лось 60 лет.*

Сердечно поздравляем с юбилеем!

*Желаем Анатолию Григорьевичу крепкого здоровья, дерзких
планов, писательского огня и неиссякаемого вдохновения!*

Коллектив “НС”